

В.В.Дудкин

ОБ ОДНОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ ИЗ ДНЕВНИКОВ Ф.КАФКИ О ДОСТОЕВСКОМ

Имеется в виду следующая дневниковая запись: «Письмо Достоевского к брату о жизни на каторге».¹ Эта фраза кажется безнадежно «немой» во всех возможных своих измерениях: интеллектуальном, эмоциональном и информационном. Однако же если ее рассматривать в контексте: 1) дневников Кафки, 2) его творчества, 3) исторической эпохи (эта запись датирована 29 мая 1914 г.), то она начинает излучать некую содержательную энергию, в свою очередь взыскующую смысловой определенности.

Начнем с последнего — с исторической эпохи. В 1914 г. началась первая мировая война. Она владела помыслами людей, она вершила их судьбы. По ее прихоти или необходимости человек, привыкший, например, работать пером, брался за ружье и из стерильной интеллектуальной среды попадал в солдатские окопы или в барак военнопленных. Именно так сложилась судьба французского писателя Жака Ривьера (1886-1925), почти ровесника Кафки с той лишь разницей, что он чуть не дожил до своего сорокалетия, тогда как тот чуть-чуть его пережил (1883-1924).

Известным писателем Ривьера никак не назовешь. Вместе с тем он играл заметную роль в литературной жизни Франции первой трети XX века. Он редактировал и издавал крупнейший литературный журнал Франции, читаемый во всей Европе, «Новое французское обозрение» («Нувель ревью франсез»). Работая в НРФ, Ривьер оказался в авангарде литературного движения и в самой гуще литературной жизни. Среди его друзей и корреспондентов был весь цвет литературной Франции: М.Пруст, Р.М.Дю Гар, А.Жид, Ф.Мориак, П.Клодель, Ж.Кокто, Ж.Дюамель, Ж.Роман, С.-Ж.Перс, А.Фурнье и другие.

Ривьер был деятельным пропагандистом Достоевского во Франции. Известно, например, что он обращался к Прусту с просьбой написать статью о русском писателе. Сам же он познакомился с произведениями Достоевского в 1907 г. Первое, что он прочел, были «Записки из Мертвого дома». Впечатлениями от прочитанного он делится со своим другом Аленом Фурнье: «Читаю Мертвый дом. Очень интересная книга. Это воспоминания каторжника (Достоевский был на каторге).» Особо выделим последние слова: «Но из них ничего нельзя узнать о самом романисте».² Все последующие годы вплоть до начала первой мировой войны Ривьер не просто читает, а изучает творчество Достоевского, о чем свидетельствует серия его статей под названием «Приключенческий роман» в НРФ за 1913 год. Это была одна из первых во французской критике попыток осмыслить новаторскую поэтику романа Достоев

ского (правда, не без влияния А. Жида). И это в ту пору, когда многие были убеждены, что русские писатели пишут «не интересные романы», а «трактаты по вопросам этики и нравственности».³ Однако и в философско-этической, религиозной проблематике Достоевского Ривьер обнаруживает для себя много нового. Понадобился только внешний толчок.

В июле 1914 г. Франция вступает в войну. 4-го августа Ривьер направляется в действующую армию, а 25-го он уже оказывается в германском плену. Свою жизнь пленника он описал в дневниках, впрочем, для печати не предназначавшихся. Однако после смерти Ривьера отдельные фрагменты опубликовала его вдова, а в 1974 г. его записки вышли целиком под заглавием «Дневники (1914-1917)».⁴

Ориентация «Дневников» Ривьера на Достоевского очевидна и бесспорна, причем по содержанию они перекликаются с «Записками из Мертвого дома», а по форме напоминают Сибирскую тетрадь: автор фиксирует впечатления и наблюдения как материал для будущих книг.

На годы неволи Достоевский становится для Ривьера тем, кем был для Данте Вергилий. И понятно, почему «никто из великих писателей не был» ему «ближе», чем Достоевский (413), никто не вызывал ощущения духовного родства (414) и даже биографического сходства (417). Но вот что очень важно отметить: французский писатель искал у Достоевского не столько утешения и солидарной поддержки, сколько находил в его каторжной жизни и в «Записках из Мертвого дома» мощный стимул духовно-нравственного самообретения в экстремальной жизненной ситуации.

«Сегодня на работе, толкая вместе с русскими пленными вагонетки в этой пустой заснеженной степи, я подумал о Достоевском в Мертвом доме. Удалось бы и мне воспользоваться неволей так, как это удалось ему! Пусть и моя душа раскроется и преисполнится милосердием, как его душа. Пусть и я умру, чтобы возродиться к новой жизни...» (178). Вспомним, что о том же самом думал и Достоевский на каторге: «...я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда, все утешение мое» (28,1;164).

В отличие от Кафки Ривьер откровенно и достаточно подробно пишет в своих «Дневниках», что и по каким мотивам влечет его в Достоевском. «...Эта идея Достоевского об искуплении, о плодотворности вины — как она глубока и как восхитительна! Какие огромные резервы души открываешь в себе, преодолев тщеславие, желание произвести впечатление, не думая больше ни о чем другом, как только о значимости и ценности своих поступков самих по себе» (178). Иными словами, выпавшие на его долю испытания и духовный опыт Достоевского помогли ему открыть душу и сердце христианской милосердной любви и состраданию. Но чтобы уметь сострадать, надо испытать, претерпеть страдание самому. Вот характерное признание из «Дневников»: «Дочитал «Фауста». Потрясен до глубины души этим отчаянным состраданием человеку и его судьбе, что не раз испытывал сам и что Гете так здорово выразил в таких словах:

Ривьер хочет, чтобы его душа уподобилась открытой ране. «Боже мой, не врачуй эту рану, а раскрой ее еще шире! Дай мне познать наконец милосердие к людям». И далее: «Я очень хорошо понимаю, чего мне не хватает, чтобы приблизиться к громадности души Достоевского. Как я еще далек от того, чтобы любить каждого из моих товарищей по плену!» И он искренне желает проникнуться тем «деятельным, берущим за душу милосердием, какое было свойственно Достоевскому» (192).

Наряду с тягой к людям властно заявлял о себе инстинкт духовного самосохранения, и Ривьер считал себя в известной степени «жертвой безличного состояния» (329). Он сочувственно цитирует в «Дневниках» слова Горянчикова о благостном одиночестве: «Помню, что все это время, несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил наконец это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь мою, перебрал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго и даже иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни» (414).

С оглядкой на Достоевского осмысляет свое узничество в концлагере Бухенвальд немецкий писатель Эрнст Вихерт (1887-1950). Свою книгу воспоминаний он назвал «Тотенвальд». Это название вызывает почти произвольную ассоциацию с Бухенвальдом. Но если исходить из перевода на русский язык этого названия — «Мертвый лес» или «Лес мертвых» — то трудно отвлечься от аналогии с Мертвым домом Достоевского. Тем более, что и в самих воспоминаниях, и в дневниках, и письмах Вихерта этого периода есть немало ссылок на Достоевского и его произведения и, разумеется, на «Записки из Мертвого дома».

При аресте писателю разрешили взять с собой карманное издание Библии. Это знаменательное совпадение, потому что, как Достоевский, Эрнст Вихерт осмысляет исторические события и свое заключение с позиций религиозного сознания. В своих мыслях и оценках он во многом совпадает с Достоевским и Ривьером. И он «впервые испытал, как отраднo ощущать себя членом людского сообщества». ⁵ И он, присматриваясь к своим товарищам по несчастью, может быть, тоже впервые проникся реальностью слов о том, что в судьбе каждого человека заключен целый мир. ⁶ И он понял, что «самый горький опыт может принести утешение» ⁷ и что вообще «нужно всегда быть благодарным своей судьбе». ⁸

Но у Вихерта появляется и новый мотив, мотив о том, что «Бог умер». Герой «Тотенвальда» вспоминает: когда Горянчиков покидал

* Пер. Б. Пастернака.

Мертвый дом, то узники приветствовали его словами «С Богом!» Но заключенные Тотенвальда так уже не могли поступить. «Бог их покинул, он умер».⁹

Количество примеров можно было бы увеличить. Но вернемся к Францу Кафке.

«Как часто жизнь литературных знаменитостей тускнеет рядом с их творениями! Биограф, принимаясь за описание заурядной жизни, испытывает нездоровый соблазн сочинить из нее роман. Он придумывает, примысливает, присочиняет. Он больше озабочен искусством, чем истиной, собственной персоной, чем своим героем...

По отношению к Достоевскому большим грехом была бы скромность, нежели дерзость воображения. Ведь его жизнь предстает чередой таких кризисов безысходного отчаяния, таких взлетов неземных восторгов, что испытываешь желание не драматизировать, а упростить ее. Создается впечатление, что этот гениальный писатель стиль своих произведений сделал стилем своей жизни и превратил ее в один из самых захватывающих своих романов. Правда его жизни кажется фантастичней самой невероятной легенды».¹⁰ По классификации французского биографа Достоевского А.Труайя, Кафку следует отнести к первому разряду писателей. Во всяком случае чисто внешне жизнь его никак не походила на увлекательный роман. И не пришлось ему испытать таких превратностей судьбы, как смертный приговор, или каторга, или плен, или концлагерь. Однако не испытать это не значить не пережить. Кафка как писатель в полной мере был наделен даром сопереживания. В одном из писем Милене он дает очень точное и наглядное описание самого процесса вживания в чужую судьбу, в чужое страдание: «Ты знаешь историю бегства Казановы из венецианской тюрьмы? Знаешь, конечно. Там мимоходом описывается самый ужасный вид заключения — в подземелье, в крошечном мраке, в сырости, на уровне лагун, человек скорчился на узкой доске, вода доходит почти до ступней... но самое ужасное — это осатанелые водяные крысы, их писк ночью, скрежет, грызня (кажется, ему приходилось сражаться с ними за корку хлеба), и страшнее всего — то, что они все время ждут, когда человек обессилеет и свалится с доски. Знаешь, вот с таким же ощущением я читал твое письмо. Все так ужасно, непостижимо, а главное — так близко и так далеко, как собственное прошлое. И вот сидишь скорчившись наверху... ноги сводит судорогой, и ты трясешься от страха, а у тебя и дела-то всего что смотреть на огромных черных крыс, а они тебя слепят в ночной тьме, и в конце концов ты уже не соображаешь, сидишь ли ты еще наверху или уже находишься среди них и пищишь, скаля узкую морду с острыми зубками».¹¹

Еще в «Гамлете» Шекспира высказывалась мысль о том, что «весь мир — тюрьма».¹² Эта ренессансная метафора обрела свою зловещую реальность только в XX веке. Именно так — как тюрьму — воспринимал мир Кафка. Гамлет говорил: «...я мог бы замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились

дурные сны». ¹³ Франца Кафку дурные сны одолели настолько, что «даже вечность» стала ему «тесной». ¹⁴ Он констатирует безысходность этого состояния: «Теснота всегда будет угнетающе действовать на меня». ¹⁵ Оно вызывает у него отчаяние. ¹⁶ Кафка сравнивал состояние мира с железнодорожной катастрофой, произошедшей в «длинном тунеле и как раз в том месте, откуда уже не виден свет его начала, а свет конца так слаб, что взгляд его еле улавливает и тут же теряет...». ¹⁷ После всего сказанного можно не сомневаться, что Кафка испытывал к Достоевскому (и особенно к периоду его жизни на каторге) вполне понятный интерес.

Теперь о самом письме. По всей вероятности (которая в данном случае равна достоверности), речь идет о письме Достоевского брату Михаилу, датированном 30 января — 22 февраля 1854 года. Во-первых, потому, что это первое письмо Достоевского с каторги. Во-вторых, в нем просматривалась документальная основа «Записок из Мертвого дома». В-третьих, письмо содержало интереснейшие психологические самонаблюдения, признания, планы на будущее, литературные и философские пристрастия писателя. Кроме того, в отдельных пассажах Достоевский достигает художественной выразительности такой силы, что само собой приходит на память сравнение автора «Записок из Мертвого дома» с Данте. Вот один такой пассаж из письма Достоевского брату: «...Жить нам было очень худо. Военная каторга тяжелее гражданской. Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами, и выходил только на работу. Работа доставалась тяжелая, конечно не всегда, и я, случалось, выбивался из сил, в ненастье, в мокроту, в слякоть, или зимою в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре на экстренной работе, когда ртуть замерзла и было, может быть, градусов сорок 40 морозу. Я ознобил себе ногу. Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое, деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели, так что в целый день почти нельзя читать. На стеклах на вершок льду. С потолка капедь — все сквозное. Нас как сельдей в бочке. Затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лед едва оттаивал), а угар нестерпимый — и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескивают водою. Поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая. Все каторжные воняют как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, «живой человек». Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, и вшей, и тараканов четвериками... Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу, что доста

нешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемены, — право, можно простить, если скажешь, что было худо» (28,1; 170-171).

Это письмо, как и каторга и ссылка Достоевского вообще, могли пробудить а австрийском писателе те же мысли и чувства, какие испытал тот же Ж.Ривьер или Э.Вихерт. Во всяком случае, подобные мысли нетрудно обнаружить в дневниках и письмах Кафки. В одном месте сказано: «Мы должны страдать всеми страданиями вокруг нас».¹⁸ В другом месте за этой фразой следует: «Христос страдал за человечество, а человечество должно пострадать за Христа. Всем нам дано не тело, а развитие, а его путь лежит через страдания, в той или иной форме».¹⁹ Или такое вот признание: «Путь к человеку, который рядом, для меня очень долог».²⁰

Было, однако, во всей сибирской эпопее русского писателя нечто такое, что не могло не обратить на себя внимание сразу же: это поведение Достоевского в сложившейся ситуации, его отношение к тому, что с ним произошло. Похожая судьба была уготована старшему современнику Достоевского итальянскому писателю Сильвио Пеллико (1789-1854). Как участник движения карбонариев, он был приговорен в 1820 году к смертной казни, каковая была впоследствии также заменена пятнадцатилетним тюремным заключением. После выхода из тюрьмы Пеллико опубликовал книгу воспоминаний «Мои темницы», которая приобрела большую популярность в Европе. Секрет ее популярности раскрыл Пушкин. «Сильвио Пеллико десять лет провел в разных темницах и, получа свободу, издал свои записки. Изумление было всеобщее: ждали жалоб, напитанных горечью, — прочли умилительные размышления, исполненные ясного спокойствия, любви и доброжелательства».²¹ Достоевский, конечно, не умилителен. Но это не единственное отличие его от Пеллико. Издревле, со времен Овидия, в узнической литературе, наряду с вполне естественными сетованиями и жалобами, прославлялись также мужество, стойкость и твердость духа невольников и смертников. Однако же в любом случае неволя представлялась не иначе как тягчайшая мука, пытка, как состояние, противное человеческой природе. Достоевский был, вероятно первым, кто воспринял удар судьбы — не будет преувеличением сказать — с энтузиазмом. И энтузиазм этот — не от надрыва, не от безмятежного благодушия и уж, конечно, не от «лечения трудом», по методу Толстого, на каторге, о чем не без ехидства пишет в своей сенсационной книге «Князь мира сего» Григорий Климов.²² Еще будучи подследственным, Достоевский писал из Петропавловской крепости брату Михаилу: «Я ожидал гораздо худшего и теперь вижу, что жизненности во мне столько запасено, что и не вычерпаешь» (28,1; 160). Через несколько месяцев после пережитого на Семеновском плацу он признавался: «Брат! я не уныл и не пал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть

человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее». И дальше: «Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю». По существу Достоевский говорит о своем перерождении, причем не о духовном перерождении вообще, а о перерождении в религиозном смысле — о преображении.²³ В том же самом письме он констатирует: «Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму... Я перерожусь к лучшему». О глубине и радикальности происходивших в нем перемен сказано там следующее: «...та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями, та голова уже срезана с плеч моих» (28,1; 162-164).

Вот почему — энтузиазм. Все, что случилось, Достоевский принял не только как удар судьбы, но и как ее милость. Ведь судьба даровала нечто новое, а «обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость» (28,1;167). Вот почему, описывая брату в вышеприведенном пространном отрывке из письма тяготы каторжной жизни, он словно извиняется за то, что каторга принесла ему страдания. Это не поза, потому что каторга была для Достоевского не проявлением всеислия мирового зла или абсурдности человеческой жизни, а толчком к перерождению души. И в этой связи обращает на себя внимание стиль письма Достоевского, который можно было бы назвать контрастирующим, т.е. являющим контраст тому содержанию, которое он выражает (напоминает стиль «Исповеди» протопопы Аввакума). Рассказывая о лишениях и муках каторжной жизни, сравнимой с Дантовым адом, писатель-каторжник не только не впадает в патетику (у Данте она была органична, хотя слезы и обмороки неоднократно повторяются — песнь третья, четвертая, двадцатая), может быть, в какой-то мере и уместную (есть там, правда, экспрессивные эпитеты «нестерпимый» и «невыносимый»; однако от трехкратного повторения первого эпитета его экспрессия существенно нейтрализуется). Он, напротив, придерживается деловито-протокольной и как бы обезличенной манеры изложения. Последнее подтверждается обилием безличных и неопределенно личных предложений, а там, где есть подлежащее — оно стоит во множественном числе («мы», «каторжные»).

Уж кто-то, а Кафка просто не мог этого не заметить: именно таковым — контрастирующим — был его собственный индивидуальный стиль, где фантазмагория, бред, кошмар представлены настолько буднично, что выглядят чуть ли не нормой жизни.

Конечно, Кафка находил у Достоевского многое, что было созвучно его умонастроениям и его писательству. Но в случае с письмом Достоевского брату, которое привлекло его внимание, следует, пожалуй говорить не о притяжении по сходству, а о притяжении по контрасту. В подтверждение этого сошлюсь на интересную статью Н.Л.Мусхелишви

ли и Ю. А. Шрейдера «Иов — ситуация Йозефа К.», опубликованной в журнале «Вопросы философии». В ней авторы испытывают героя Кафки ситуацией, в которой оказался библейский Иов, ситуацией, каковой они убедительно придают архетипный характер. Суть развернутой ими аналогии сводится к следующему. Вера Иова — не в страхе Божьем, а в попытке достучаться до Бога, в стремлении обнаружить или обрести смысл в том, что происходит. И суть истории Иова заключается в том, что все происходящее имеет свой смысл. Йозеф К. этот смысл утрачивает, он живет в ситуации своих страданий и их бессмысленности, он стремится не осмыслить ситуацию, а бежать от нее. Все это наиболее полно раскрывается, по мнению авторов, в момент встречи со священником или тюремным капелланом.²⁴ Это логично. Непонятно только одно: как в контексте этих рассуждений объяснить финал романа, когда Йозеф К. — вместо того, чтобы и на сей раз бежать, увильнуть — с готовностью ложится под нож? Мнение о том, что он проникся метафизической виной, кажется слишком уж общим местом применительно к данному конкретному случаю, чтобы не оставить сомнений. Если, однако, принять, что придание смысла есть способ приспособления к новой ситуации (а чем другим оно вообще еще может быть?), то тогда все как будто проясняется, однако в высшей степени парадоксальным образом. Тогда получается, что самозаклание Йозефа К. есть предельное выражение абсурдности этого мира, логически вытекающего из придания этому миру того смысла, что он бессмыслен. Это своего рода amor inortis — любовь к смерти.

Ну, а что сам Франц Кафка? Если опять прибегнуть к «Иов-ситуации» то он окажется куда ближе своему герою, чем Иову — Достоевскому. «Моя тюремная камера — моя крепость».²⁵ Это ирония не преодоления абсурдного мира, а ирония притяжения его. Тюремная камера у Кафки — это состояние души. Он постоянно ощущает «стесненность» внутри себя, «мрак, сквозь который ничего не видно».²⁶ Судя по дневникам Кафки, не говоря уже о его произведениях, чувство страха, безысходности, отчаяния, муки от сознания Сизифовой бессмысленности жизни, заключенной в круги Дантова ада, — все это выглядит чуть ли не рутинной каждодневного существования. Привычность, будничность ужаса были тем, что Кафка привнес в литературу. «И стоит только сорваться с привязи, как тотчас же хочется снова подставить шею под привычное ярмо».²⁷

Однако парадоксальная логика приспособления к абсурдному принципиально не может исключить перспективу осмысленного инобытия мира. И как раз эта перспектива и могла привлечь внимание австрийского писателя в письме Достоевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Кафка Ф. Из дневников. Письмо к отцу. М. 1988. С. 109.
- 2 Rivière J. et Alain-Fournier. Correspondance 1905-1914. P. 1928. V.3. P.254.
- 3 Suarés A. Trois hommes. Pascal. Ibsen. Dostoievski. P. 1913. P.249.
- 4 Rivière J. Carnets 1914-1917. P. 1974. Ссылки на эту книгу см. с указанием в скобках страницы в тексте.
- 5 Wiechert E. Der Totenwald. Ein Bericht. Tagebuchnotizen und Briefe. Ber. 1997. s.53.
- 6 Ibid., s.56.
- 7 Ibid., s.56.
- 8 Ibid., s.149.
- 9 Ibid., s.133.
- 10 Troyat A. Dostoievsky. P. 1940. P.9. За эту книгу А.Труайя был удостоен Гонкуровской премии (1938).
- 11 Кафка Ф. Замок. Новеллы и притчи. Письмо к отцу. Письма Милене. М. 1991. С.507.
- 12 Шекспир У. Избранные произведения. Л. 1975. С.186.
- 13 Там же. С.186.
- 14 Kafka F. Gesammelte Werke. Hrsg. v. Max Brod: Bd.6 F/M. 1976. S.81.
- 15 Ibid., s.83.
- 16 Ibid., s.52.
- 17 Ibid., s.54.
- 18 Ibid., s.39.
- 19 Ibid., s.86.
- 20 Ibid., s.96.
- 21 А.С.Пушкин — критик. М. 1978. С.518.
- 22 Климов Г. Князь мира сего. М. 1993. С.86.
- 23 Об этом шла речь в докладе В.Н.Захарова на XIX Достоевских чтениях в С.-Петербурге (1994).
- 24 Мухелишвили Н.Л., Шрейдер Ю.А. Иов — ситуация Йозефа К. // Вопросы философии. 1993. № 7.
- 25 Kafka F. Gesammelte Werke. Bd. 6. S.305.
26. Кафка Ф. Америка. Процесс. Из дневников. М. 1988. С.513.
27. Там же. С.535.